

**УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР**

---

*НЕПОБЕЖДЕННЫЕ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ  
МОСКВА*

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Coe)-44  
Ф75

Серия «Эксклюзивная классика»

William Faulkner  
THE UNVANQUISHED

Перевод с английского *О. Сороки*

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

В оформлении обложки использована картина  
*Эдварда Лемсона Генри «Старый дом Вестовера», 1869*

Печатается с разрешения Random House, an imprint and  
division of Penguin Random House LLC.

**Фолкнер, Уильям.**

Ф75 Непобежденные : [роман] / Уильям Фолкнер ;  
[перевод с английского О. Сороки]. — Москва :  
Издательство АСТ, 2023. — 256 с. — (Эксклюзивная  
классика).

ISBN 978-5-17-154670-0

Небольшой роман, созданный на основе раннего цикла рассказов Фолкнера, над которыми писатель работал много лет, переписывая его и сводя в единое целое.

Семь историй из жизни маленького городка Йокнапатофа во время Гражданской войны и Реконструкции Юга, рассказанных взрослеющим Баярдом Сарторисом, который проходит путь от восторженного мальчика до молодого мужчины. Истории о веселых приключениях, дружбе, любви и смерти. Истории о войне, которую никогда не забудут южане, считающие себя непобежденными.

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Coe)-44

© William Faulkner, 1938  
© Перевод. О. Сорока, наследники, 2017  
© Издание на русском языке  
AST Publishers, 2023

ISBN 978-5-17-154670-0

# Засада

## 1

В то лето у нас — у меня и Ринго — на пустырьке за коптильной было поле Виксбергской осады и битвы. Пусть Виксберг изображала у нас горсть щепок, подобранных у поленницы, а Реку обозначала рытвина, продолбленная краешком мотыги в плотно спекшейся земле, но макет этот наш (Река, город, окрестности) при всей малости давал ощутить непокорную, хоть и недвижимую, мощь земных складок, пред которой слаба артиллерия, эфемерны трагичнейшие поражения и блистательнейшие победы, что отгрохотали — и нет их. Эта «живая карта» была для нас живою уже потому, что иссушенная земля пила воду, выпивала быстрее, чем мы успевали таскать от родника, так что подготовка поля к битве обращалась в затяжное и почти напрасное мученье; мы с дырявым ведром нескончаемо мотались высунув язык между родниковым навесом и нашей рытвинкой-рекой, ибо требовалось, объединив силы, одолеть сперва общего врага — время, чтобы затем уж разделиться и разыграть, неукоснительно исполнить обряд яростного и победоносного сражения, отгородясь им, точно занавесом и щитом, от роковой реаль-

ности, от факта. И в этот послеполуденный час нам казалось, что русло так и не напьется, не отсыреет даже — ведь и росы не выпадало вот уже недели три. Но наконец Река увлажнилась, по крайней мере, влажно потемнела, и можно теперь начинать. Мы собрались начать. Но подошел неожиданно Люш (Ринго ему племянник; Люш — сын старого Джоби). Возник откуда-то, явился незамеченный и встал под свирепо и тупо разящим солнцем с непокрытой головой, нескособоченно и твердо принагнув эту литую, круглую, как пушечное ядро, голову, — как если бы ядро наспех, неглубоко, но намертво посадили в бетон, — и глядит глазами, чуть покрасневшими с внутренних углов (как бывает у негров хмельных), на то, что Ринго и я наименовали Висксбергом. Тут я увидел у поленицы Филадельфию, жену Люша, — набрала на руку дров, еще не разогнулась и смотрит Люшу в спину.

— Это что тут? — спросил Люш.

— Висксберг, — ответил я.

Люш засмеялся. Стоял и негромко смеялся, глядя на щепки.

— Иди же сюда, Люш, — позвала Филадельфия. Что-то странное было и в ее голосе тоже — торопливость напряженная какая-то; возможно, испуг. — Хочешь ужинать, так дров поднеси мне.

Испуг ли то был или просто она торопилась? Люш не дал мне вдуматься, решить, потому что присел вдруг и — мы и шевельнуться не успели — повалил рукою щепки.

— Вот так с вашим Виксбергом случилось, — сказал он.

— Люш! — позвала Филадельфия. Но Люш, не подымаясь с корточек, глядел на меня с этим особым выражением на лице. Мне было всего двенадцать; я еще не знал, что это выражение торжества; я и слова такого не знал — торжество.

— И еще с одним городом то же, а вам и не известно, — сказал он. — С Коринтом.

— С Коринтом? — переспросил я. Филадельфия, бросив дрова, быстро шла к нам. — Он тоже в нашем штате, в Миссисипи. Недалеко. Я был там.

— А хотя б и далеко, — произнес Люш. В голосе его послышалась напевность; он сидел на корточках, подставив свирепому солнцу чугунный свой череп и плоский скат носа и уже не глядя на меня и Ринго; воспаленные глаза Люша словно повернулись зрачками назад, а к нам — тыльной, слепой стороной глазного яблока. — Хотя б и далеко. Потому что все равно уж на подходе.

— Кто на подходе? Куда на подходе?

— Спроси папу своего. Хозяина Джона.

— Он в Теннесси воюет. Как я его спрошу?

— В Теннесси он, думаешь? Незачем ему уже там быть.

Тут Филадельфия схватила Люша за руку.

— Замолчи, негр! — крикнула она, и в голосе ее все та же крайняя звучала напряженность. — Иди, дрова носи!

Они ушли. Мы не смотрели им вслед, мы стояли над нашим поваленным Виксбергом и так усердно

продолбленной нами рытвинкой-рекой, уже снова просохшей, и смотрели тихо друг на друга.

— О чем это он? — сказал Ринго. — О чем он?

— Да ни о чем, — сказал я. Нагнулся, опять поставил Виксберг. — Вот уже как было.

Но Ринго смотрел на меня недвижимо.

— Люш смеялся. Он сказал, что и с Коринтом то же. Радовался, что с Коринтом то же. Он что-то знает, а мы не знаем?

— Ничего он не знает! — сказал я. — По-твоему, Люш знает то, чего отец не знает?

— Хозяин Джон в Теннесси. Может, там и ему неизвестно.

— По-твоему, он бы оставался где-то в Теннесси, если б янки уже в Коринте были? По-твоему, отец и генерал Ван Дорн и генерал Пембертон не были бы уже там все трое, если б янки туда дошли?

Но я понимал — слова мои слабы, потому что негры знают, им многое ведомо; слова тут не помогут, нужно что-то посильней, погромче слов. И я нагнулся, набрал пыли в обе горсти, выпрямился; а Ринго все стоит, не шевелится, смотрит, как я швыряю в него пылью.

— Я генерал Пембертон! — крикнул я. — Ура-а-а! Ур-ра-а-а!

Опять нагнулся, нагреб пыли, швырнул. А Ринго стоит как стоял.

— Ладно! — крикнул я. — Будь на этот раз ты генералом Пембертоном. А Грантом пусть уж буду я.

Потому что требовалась неотложная победа над тем, что неграм ведомо. По уговору нашему, сна-

чала генералом Пембертоном два раза подряд бываю я, а Ринго — Грантом, генералом северян, а уж на третий раз я — Грант, Ринго — Пембертон, иначе он играть больше не станет. Но теперь наша победа не терпела отлагательств, и неважно, что Ринго тоже негр, — ведь мы с ним родились в один и тот же год и месяц, и оба выкормлены одной грудью, и ели-спали вместе столько уже лет, что и Ринго зовет мою бабушку «бабушка» — и, может, он уже не негр или же я не белый, мы оба с ним уже не черные, не белые, не люди, а неподвластная поражению пара мотыльков, два перышка, летящих поверх бури. Так что, оба уйдя в игру, мы не заметили приближения Лувинии (Ринго — внук ей, она жена старого Джоби). Стоя друг против друга на расстоянии каких-нибудь двух вытянутых рук, невидимые друг другу за яростно и медленно вспухающим облаком пыли, мы с ним вопили: «Бей сволочей! Руби! Бей насмерть!» Но тут голос Лувинии опустился на нас, как ладонь великана, укротив даже взметенную пыль, так что теперь мы стали видимы — до бровей окрашенные пылью и с руками, еще поднятыми для швырка.

— Уймись, Баярд! Уймись ты, Ринго! — кричит она, стоя шагах в пяти от нас. На ней, я замечаю, нет старой отцовской шляпы, которую она непременно надевает поверх косынки, пусть даже всего на минуту выходя из кухни за дровами. — Что за слово такое я слышала? Как это вы обзывались? — И, не переводя дыхания, продолжает (бежала бегом, видно): — А кто к нам едет по большой дороге!

В один и тот же миг мы с Ринго рванулись из остолбенелой неподвижности — через двор и кругом дома, туда, где на парадном крыльце стоит бабушка, где Люш, обогнув дом с другой стороны, тоже встал у крыльца и глядит на ворота, что в конце въездной аллеи. Когда отец весною приезжал, мы с Ринго побежали аллеей навстречу и вернулись — я стоя в стремени, обхваченный рукой отца, а Ринго — держась за другое стремя и не отставая от коня. Но сейчас к воротам мы не кинулись. Я на крыльце рядом с бабушкой, а Ринго с Люшем внизу, у ступенек, — вместе мы глядели, как Юпитер, соловый жеребец, входит в ворота, постоянно теперь растворенные, идет по аллее. Они приближались: большой костлявый конь мастью почти под цвет дыма — светлей, чем дорожная пыль, что прилипла к его шкуре, мокрой с переправы, с брода в трех милях отсюда, — идет мерным ходом, который не шаг и не бег, как если б Юпитер весь путь из Теннесси шел этой мерной поступью без перерыва, ибо настало время преодолеть простор земли, забыв о сне и отдыхе и отбросив, отослав в нездешний край вечного и праздного досуга зряшную прыть галопа; и отец, тоже не просохший с переправы — сапоги от воды потемнели и покрыты тоже коркой пыли, серый походный мундир белесо выцвел на груди, на спине, на рукавах, и почти не блестят потускневшие пуговицы и вытертый полковничий галун, а сабля тяжело висит сбоку, не подскакивая на ходу, точно слитая с бедром. Отец остановил коня; взглянул на нас с бабушкой, на Ринго с Люшем.



— Здравствуйте, мисс Роза. Здорово, ребята.

— Здравствуй, Джон, — сказала бабушка.

Люш подошел, взял коня под уздцы; отец натруженно спешил, и сабля увесисто и тупо ударилась о ногу, о мокрое голенище.

— Почисть его, — сказал отец. — Дай корма вдоволь, но не выпускай на выгон. Пусть будет под рукой... Иди с Люшем, — сказал он Юпитеру, точно к ребенку обращаясь, и потрепал его по желтовато-дымчатому боку, и Люш увел коня. Теперь мы могли рассмотреть его как следует. Отца то есть. Он был невелик ростом; возвышали, высили его в наших глазах те дела, что — мы знали — совершает, совершил он в Виргинии и Теннесси. Были и другие воины, свершавшие такое, — но мы-то знали его одного лишь, его храп слышали ночами в тихом доме, его видели за обеденным столом, его голосу внимали, его привычки сна, еды и разговора знали. Ростом он был невелик, в седле же казался еще малорослей, потому что Юпитер был крупен, а отец в воображении нашем высылся и пеший, на коне же вырастал уже до неба, до невероятия. И потому казался в седле мал. Он подошел к крыльцу, стал подниматься, и сабля весома и плоско льнула к ноге. А мне уже запахло — как во все его приезды, как весной, когда я ехал по аллее, прижимаясь к нему, стоя в стремени, — я уже почуял запах, шедший от его одежды, бороды и от тела тоже; мне казалось, это запах пороха и славы, победоносной избранности, но, поумнев, теперь я знаю — не победоносность

то была, а только воля выстоять, едко-усмешливый отказ от самообманов, заходящий намного дальше и того оптимизма, который бодро принимает вероятность в ближайшем же будущем всего наихудшего, что мы способны претерпеть. Он всходил, и сабля задевала каждую ступеньку (так невысок он был на самом деле); взойдя на четыре ступеньки, остановился и снял шляпу. Вот пример того, как действия отца превышали его рост. Он ведь мог подняться наверх, стать вровень с бабушкой — и ему пришлось бы слегка лишь нагнуться, подставляя лоб поцелую. Но нет. Он остановился двумя ступеньками ниже и обнажил голову, и то, что теперь уже бабушка принагнулась, касаясь его лба губами, нисколько не ослабило впечатления рослости, крупности, которое он производил — по крайней мере, на нас.

— Я так и думала, что ты приедешь, — сказала бабушка.

— Н-да, — сказал отец. Взглянул на меня, не сводившего с него глаз; а снизу неотрывно смотрел на него Ринго.

— Неблизкий путь из Теннесси, — сказал я.

— Н-да, — опять сказал отец.

— А отощали вы, хозяин Джон, — сказал Ринго. — Что там едят в Теннесси? То же самое, что у нас едят люди?

И тут я сказал, влюбленно глядя отцу в лицо, в глаза:

— Люш говорит, ты сейчас не в Теннесси был.

— Люш? — произнес отец. — Люш?

— Входи, — сказала бабушка. — Лувиния уже накрывает на стол. Не успеешь умыться, как подаст тебе обедать.

## 2

В тот же день, еще до заката, мы сделали для нашей скотины загон. Мы огородили его в низине, в зарослях у речки, где его нипочем не найти чужаку, и саму изгородь разглядеть можно, лишь приблизившись к свежесрубленным, сочащим сок жердям, перегородившим чащобу и с ней сливающимся. Мы все там трудились — отец, Джоби, Ринго, Люш и я, — отец по-прежнему в сапогах, но сняв мундир, и обнаружилось, что брюки на нем не конфедератские, не наши, а североармейские, трофейные, нового и крепкого синего сукна; и саблю отец снял. Работали мы быстро, валили молодые деревья — иву, дубки, красный клен, каштан карликовый — и, наспех обрубивши ветки, волокли с помощью мулов, да и сами, через пойменную грязь и кусты туда, где уже ждал отец. Вот то-то и оно — отец поспевал всюду; ухватив по жердине под каждую руку, он волок их сквозь кустарник чуть ли не быстрее мулов и примасивал на место, пока Джоби с Люшем еще спорили, каким концом пустить куда. Вот то-то же; и не в том дело, что отец работал быстрее и усерднее всех нас, хотя мог бы стоять, распоряжаться и уж точно выглядел бы в такой позе крупней и внушительней (во всяком случае, в мальчишеских глазах — по крайней мере,

в наших с Ринго двенадцатилетних глазах) — дело во всей его манере. Когда Лувиния подала ему солонину с овощами, кукурузные лепешки, молоко и он поел, сидя на своем обычном месте в столовой нашей (а мы — Ринго и я, во всяком случае — глядели, ждали, не могли дожидаться вечера и отцовских рассказов), и вытер бороду и сказал: «А теперь новый загон городить. Но прежде еще надо нарубить жердей», — при этих словах и мне и Ринго представилось, наверное, одно и то же. Вообразилось, что все мы — Джоби, Люш, Ринго и я — стоим там, как бы выстроясь, — не в потной жажде штурма и победы, а в том мощном, хоть и покорном утверждении верховной воли, которое, должно быть, двигало Наполеоновы войска; а перед нами отец, и за его спиной приречная низина, напоенные соком стволы, что сейчас будут обращены в мертвые жерди. Отец на коне; отец в сером золотогалунном мундире; и вот он обнажает саблю. Окинув и сплотив нас своим взглядом напоследок и вздыбливая, поворачивая уж Юпитера на тугих удилах, выхватывает он саблю; движение взметает его волосы под треуголкой, сабля блещет; он восклицает негромко, но громово: «Рысью! Марш-марш! В атаку!» И, с места не сходя, мы следуем за ним и взглядом и телами — за невысоким человеком, который в сочетании с конем высится как раз в меру (а для нас, двенадцатилетних, высится над всеми прочими людьми), — который встал на стременах над дымчатою уносящеюся молнией коня, и под бесчисленными сверкающими сабельными взмахами назначенные им деревья,

срубленные и обрубленные, очищенные от ветвей, ложатся стройными рядами, ожидая только переноски и приладки, чтобы протянуться изгородью.

Солнце уже ушло из низины, когда мы кончили изгородь: Джоби и Люшу осталось лишь поставить последние три ее звена; но оно еще светило на выгоне, на косогоре, когда мы ехали к дому — я у отца за спиной, на крупе мула, а на втором муле Ринго. У дома отец слез, а я — в седле — вернулся к конюшне, и тем временем на косогорах за вечерело тоже. Ринго уже надел корове на рога веревку, и мы направились опять в низину, и теленок шел за коровой, тычась ей в вымя всякий раз, когда корова останавливалась щипнуть травы. Ринго дергал веревку, орал на корову, а свинья трюхала впереди. Но задерживала нас именно свинья. Она двигалась даже медленнее, чем корова со всеми ее остановками, так что, пока спустились к новому загону, уже стемнело. Но в изгороди оставался еще широкий незаделанный проход. Правда, мы на это и рассчитывали.

Мы завели туда обоих мулов, корову с теленком, свинью; ощупью поставили последнее звено и пошли домой. Было совсем темно, даже на выгоне; нам видна была горящая в кухне лампа, и чья-то тень там двигалась в окне. Мы с Ринго вошли — Лувиния как раз закрывала дорожный сундук из тех, что стоят на чердаке; в последний раз его снимали оттуда, когда ездили в Хоккерст гостить на Рождество четыре года назад — тогда не было еще войны и дядя Деннисон был жив. Сунду-

чище этот тяжел даже и пустой; когда мы уходили городить загон, в кухне его не было, и, значит, его снесли вниз без нас, без Джоби и Люша, и тащить пришлось бабушке с Лувинией, разве что снес его вниз отец, подъехавший со мной на муле, — и, значит, вот как спешно все и неотложно; да, наверно, это отец и с сундуком управился. А когда я вошел в столовую ужинать, на столе вместо серебряных ножей и вилок лежали кухонные, и за стеклом буфета (где на моей памяти всегда стоял серебряный сервиз, и только каждый вторник бабушка с Лувинией и Филадельфией брали его оттуда и начищали, а зачем — одной бабушке разве что известно, — ведь сервизом никогда не пользовались) было пусто.

Отужинали быстро. Отец ведь обедал, а мы — Ринго и я — слишком ждали-ждали этого отдохновенного часа, когда отец начнет рассказ. В тот его весенний приезд мы дождались: отец сел после ужина в свое старое кресло-качалку, в камине затрещали, защелкали ореховые чурбаки, и мы приготовились слушать, присев на пятки сбоку от огня, а над каминною доской на двух крюках протянулось трофейное капсюльное ружье, привезенное отцом из Виргинии два года назад, — дремлет, смазанное и заряженное к бою. И мы услышали тогда рассказ. Звучали в нем такие имена, как Форрест, Морган, Барксдейл и Ван Дорн, такие немиссисипские слова, как ущелье и обвал; но Барксдейл — наш земляк, и Ван Дорн тоже, только его застрелит позже чей-то муж; а генерал Форрест проезжал

однажды Южной улицею Оксфорда, и сквозь оконное стекло глядела на него там девушка, алмазом перстня нацарапавшая свое имя на стекле: Силия Кук...

Но нам шел всего тринадцатый; в ушах наших звучало другое. Нам слышались пушки, и шелест знамен, и безымянный вопль атаки. И это мы хотели и сегодня услышать. Ринго ожидал меня в холле; вот уже отец сел в свое кресло в комнате, которую он и негры зовут кабинетом: он зовет потому, что здесь стоит его письменный стол, в чьих ящиках хранятся образцы нашего хлопка и зерна, — и здесь он снимает грязные сапоги и сидит разувшись, а сапоги сохнут у камина, и сюда не возбраняется войти собакам и греться у огня на ковре и даже ночевать здесь в холода — а разрешила ли то отцу мама (она умерла, родив меня) и подтвердила разрешение бабушка или бабушка сама уже без мамы разрешила, я не знаю; негры же зовут комнату кабинетом потому, что сюда заведено их призывать на очную ставку с патрульщиком (который сидит на одном из жестких стульев и курит одну из отцовых сигар, но шляпу все же сняв), чтобы они клятвенно заверили, что вовсе и не были там, где их видел патрульщик, что вовсе не они то были; а бабушка зовет библиотекой, потому что здесь стоит книжный шкаф, и в нем Литтлтон, комментированный Коуком, Иосиф Флавий, Коран, том решений Миссисипского суда за 1848 год, Джереми Тейлор, «Афоризмы» Наполеона, трактат по астрологии в тысячу девяносто восемь страниц, «История оборотней английских,